

211
270
145
ГЕОРГИЙ ГОРБАЧЕВ

ДВА ГОДА
ЛИТЕРАТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

«ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД
1926

218
100

№ 211
270
Д.И. от М.50г.
Орл-79
8580
ПОЛКЕ
Библиотека
Всесоюзная
ЛЕНИНГРАД

ДВА ГОДА ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

КРИТИЧЕСКИЕ и ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
1924 — 26 г.г.

ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 1923—25 г.г. ПРОЛЕТАРСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И НАША СОВРЕМЕННОСТЬ, Ю. ЛИБЕ-
ДИНСКИЙ, Н. ЛЯШКО, БАБЕЛЬ, Б. ЛАВРЕНЕВ, А. ЧАПЫГИН,
В. Я. БРЮСОВ, А. Д. ТРОЦКИЙ, КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
О „РУССКОМ СОВРЕМЕННОМ“.



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД 1926



ДВА ГОДА

АНТИФАШИСТСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПАРТИИ

1944 - 1946

1944 28/12



Ленинградский Гублит № 10672. Печ. 5000 экз. — 12 л. Заказ № 2003.

Государственная типография им. тов. Зинovieва. Ленинград, Социалистическая ул., 14.

ГРУППЕ „СТРОЙКА“

посвящаю эту книгу.

Георгий Горбачев.

Март 1926 г.

То сердце не научится любить!
Которое устало ненавидеть.

Н. Некрасов.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Собранные в этом сборнике статьи написаны в разное время по разным поводам, с разными заданиями и целевыми устремлениями. Одни из них имеют целью анализ только „содержания“, творчества писателя, другие посвящены не в меньшей степени и вопросам так называемой „формы“; одни статьи пытаются охватить творчество писателя в целом и дать его „литературный портрет“, другие занимаются жизнью, преломленной в художественных произведениях и свойствами „преломления“ с точки зрения его верности действительности, а не творческой индивидуальностью художника. Статья о Брюсове является кратким откликом на смерть поэта; о котором уже было много написано другими; статьи о Лавреневе и Чапыгине являются попыткой всесторонне или частично охарактеризовать интересных, но почти не затронутых другими критиками художников.

Объединяет эти статьи единство методологических взглядов их автора и его взглядов на перспективы нашего литературного развития. Первые сводятся, кратко говоря, к тому, что и идейно-эмоциональная окраска художественного произведения, и истолкование в нем действительности, и „приемы“ оформления материала, претворения последнего в явление искусства — социально-значимы и социально-зависимы. „Социально“ же надо понимать — „социально-эстетически“. Под влиянием динамики общественного бытия через общественную психологию в своеобразной „сфере“ художественного творчества создается произведение искусства, и, эстетически воздействуя на общественного человека, оно влияет на общественную психологию и на „базис“, на бытие: одновременно вступает оно в до конца зависимый от бытия, но своеобразно развивающийся ряд искусства, живущего исторически-преемственно. Односторонность некоторых статей, объясняемая их заданием, или

недоконченность анализа в других статьях, объясняемая недостатком материалов, неразработанностью проблемы синтеза марксизма и подхода к литературе, как к эстетическому явлению, наконец неумением автора увязать в отдельных случаях художественное явление с его глубочайшими корнями—пусть не будет принята за отступление от вышеизложенных принципов. Взгляды же автора на перспективы нашего литературного развития остаются те же, что были и в июне 1923 г. когда в предисловии к первому изданию своей первой книги он писал „как бы ни расценивать современные достижения классово - пролетарской поэзии и художественной прозы, всякому марксисту должно быть совершенно ясно, что именно этому течению принадлежит победа и господство в будущем“. Этот взгляд подвергся лишь развитию, состоящему в сближении автора с основной напостовской группой по всем принципиальным вопросам. Он развит подробно в статьях этой книги, пытающихся доказать, что время гегемонии пролетлитературы приближается быстрее, чем можно было думать в 1923 году. Оно близится вопреки всяким, в том числе и явно оппортунистическим ошибкам ассоциаций пролетписателей в организационных и тактических вопросах. Большая часть печатаемых здесь статей уже появлялась в разных журналах и в альманахе „Стройка“. Все они исправлены и дополнены, соответственно появлению новых фактов и исследований, но кроме стенограммы (неопубликованной) доклада о т. Троцком, как критике коренной переработке не подвергались.

Ленинград.
31 марта 1926 г.

На переломе.

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ).

(Эволюция русской литературы за 1924—25 г.г.).

1. Правое крыло литературы в 1923 г.

Еще не далее как в 1923 году обзор современной русской литературы правильно следовало делать по классовым группам справа-налево, от остатков буржуазно-дворянской литературы, через необуржуазную и мелкобуржуазную к подлинно революционным „попутчикам“ и пролетписателям. Так именно справа-налево в общем и целом понижалась литературная актуальность и популярность авторов и их произведений; в том же направлении убывала художественная их крепость и самостоятельность.

Напомним вкратце главные в то „невозвратно-далекое“ время литературные направления, соответствующие определенным социальным группам, борющимся между собою в общественной и культурной жизни. Как живучий еще пережиток прошлого, видное место занимали остатки символистов, акмеистов, буржуазных реалистов — Бальмонт, Белый, Сологуб, Ахматова. Мандельштам, Замятин, Шмелев, Зайцев, Сергеев-Ценский и другие. Это были оставшиеся „вне Октября“ представители литературы дореволюционных дворянства и буржуазии и столыпинского, третьеиюньского блока этих классов. Эти „пережитки прошлого“ были в 1923 году еще литературно-актуальны, их творчество вызывало подражания, этим творчеством восторгались в подвалах центральных коммунистических газет (например эпизод Осинский-Ахматова и другие подобные). Эти буржуазные писатели печатались на видном месте в советских журналах и альманахах. Все это заставляло ставить вопрос об их возможном приспособлении и приноровлении к современности.

К следующей группе принадлежали те из „старых“ дворянски-буржуазных писателей, которые, „сменив вехи“, начали идеологически обслуживать тенденции капиталистического возрождения, заключенные в нэповском обходном движении к социализму, тенденции, которым не суждено развиваться до победы, но которые после 1918—20 г.г. показались кое-кому верным признаком близкой

буржуазной „весны“. Необуржуазному принятию революции посвятили свои перья и Эренбург, и А. Н. Толстой, и О. Форш (А. Терек). Эренбург и Толстой были в зените славы. Н. И. Бухарин писал хвалебное предисловие к „Хулио Хуренито“, а произведение это зачитывалось до дыр молодежью. „Маститый“ А. Н. Толстой в отличие от наших дней казался полубогом не только пришедшей поглядеть грязное белье „Алисы“ и „Гришки Распутина“ публике из нэпманов, совбарышень и лиговской „шпанки“.

Условно „левее“ Эренбурга и Толстого можно было поставить „старших“ серапионов: Н. Никитина, Зощенку, Слонимского. Это были представители более молодой, участвовавшей в империалистической и гражданской войне интеллигенции, настроенной мещански-обывательски и увидевшей в грандиозных сдвигах эпохи лишь случайное землетрясение, после которого мир обстроится по старому, плотно, уютно и скучно. Серапионы усиленно рекламировали сами себя, рекламировались критиками-формалистами. Они выглядели еще молодыми и задорными, хотя „собачья старость“, грозившая им, проступала достаточно четко перед теми, кто хотел видеть. Серапионы составляли тогда одну из основных составных частей „революционной“ (по Троцкому-Воронскому) русской литературы.

Примерно рядом с серапионами, но всячески выше их, стоял Б. Пильняк. Это был в смысле формальном — эпигон А. Белого, идейно же — российский уездный интеллигент (по „нутру“ — обыватель, по мировоззрению — истерический полумистик и модернизированный народник и славянофил). Выше серапионов он поднимался искренностью своей трагической истерики и своего увлечения революцией. Пильняк многим казался в 1923 году едва ли не крупнейшим современным русским прозаиком. Отчасти это объяснялось его своеобразным, хотя противоречивым и „больным“ талантом. Этот талант составлялся из Чеховски-Зайцевской уездной лирической грусти, риторического дара, правда слишком легко переходящего в истерику, недурных способностей рассказчика бытовых анекдотов, при полном отсутствии умения справиться с сюжетом, вернее даже придумать фабулу. Но более всего успех Пильняку создавало его первенство в неконтрреволюционном художественном изображении эпохи гражданской войны. „Былье“ ведь помечено в первом издании 1919 г. Пленяло многих и чисто внешнее и очень условное любование Пильняка большевистскими кожаными куртками. Ведь наряду с уездно-обывательским, анархо-индивидуалистическим интеллигентским ужасом перед революцией и тягой в „царство крестьянской ограниченности“ в Пильняке жило сознание победоносной мощи машины и рабочего. За Пильняком тенью следовал Вл. Лидин. Он отличался некоторою сглаженностью нелепого пильняковского языка и меньшей запутанностью композиции, чем и ввел было кое-кого (в том числе и автора этих строк) в соблазн счесть его самостоятельной литературной величиной.

Клюев, отчасти Шишков и Чапыгин, представляли в литературе старую деревенно-полукулацкую-полупатриархальную, косную и недочувствительную к „беспартошному и безбожному“ городу, но приившую от революции „землицу“. Деклассированно же хулиганские элементы старой деревни нашли своего певца в Есенине. Последний к тому времени, впрочем, стал и соучастником в „творчестве“ имажинистов—интеллигентской богемы, увидевшей в революции лишь свободу хулиганить и еще имевшей некоторый литературный вес в 1923 г. Есенин был всемерно выше всяческих Мариенгофов, не только по таланту и мастерству, но и по искренности своего тяготения к революции и тоски от неумения идти с ней в ногу. Но все же в это время в творчестве Есенина начали преобладать сильнее всего упадочные мотивы.

2. О термине „попутчики“.

Лишь за этими пределами начинались действительные „попутчики“ революции.

Неверно и неправильно было с оттенком ли одобрения (все же, мол, как-то да идут с нами) или с явным осуждением валить всех не явно-контрреволюционных и не явно-пролетарских писателей в одну бесформенную кучу, называя их всех „попутчиками“. Это еще имело основание у напостовцев, так как они резко отграничивали пролетарскую литературу от всей прочей, признавая в то же время различие между разными типами попутчиков. На этом основании термин „попутчики“ у Лелевича, Вардина и Родова имел тактическое право на столь широкий смысл, в известном сочетании понятий. Но у сторонников взглядов Троцкого этот термин выражал лишь их неумение разобраться в тенденциях литературного развития. Т. Троцкий сам употреблял и истолковывал этот термин не критически и противоречиво. (См. статью о Троцком). Какое же в самом деле могло быть сравнение между интеллигентски-невыдержанным, но упорным стремлением Маяковского идти до конца за пролетарской революцией и явным сменовеховством Эренбурга? Разве можно было поставить знак равенства между сейфуллинским лояльнейшим крестьянским приятием советской революции вплоть до комбедов, обобществления и механизации земледелия и между Клюевским неприятием города и прославлением коммуны с лежанкой, триодью и крепким хозяйственным укладом?

Эренбурги, Пидьянки, отчасти и Клюев, принимали от революции уничтожение царизма и дворянски-бюрократического строя, но они одновременно выступали против всех ее основных пролетарских, социалистических стремлений. Такие писатели частично были полезны своим отрицанием старого, разложением сомкнутых рядов контр-революции, но они—и своими положительными идеалами, и своим отрицанием пролетарски-социалистического харак-

тера революции—были последней решительно враждебны. Их „попутничество“ было эпизодично и условно, оно относилось к разрешенным уже в основном буржуазно-демократическим заданиям революции. Оно с избытком покрывалось их враждебностью к ее социалистической сущности. Это было попутничество того же порядка, как „попутничество“ Устрялова, кулаков, живой церкви и т. д. Серапионы распространяли мещанское, имажинисты—хулиганское тление. Пильняк до сих пор не выбрал между патриотизмом и интернационализмом, между до-Петровской „идиллией“ и индустриализацией и электрификацией, между кулаком и пролетарием.

Совершенно иначе относятся к революции—те интеллигентские писатели, которые, разделяя, хотя и с интеллигентскими оговорочками, коммунистический идеал и большевистские методы его достижения, идут за пролетариатом.

Иначе должны расцениваться и писатели, которые, не вполне понимая конечные цели революции, прочно срослись с Советской властью и коммунистами в эпоху гражданской войны. В этой войне они—суб'ективно—дрались не с капиталом, а с помещиками, генералами, погромщиками и иностранцами, не за интернационал, но против чужеземного империализма, не за социализм, а за землю и „демократическую“ волю. И все же многие из них срослись с нами так прочно, что разорвать союза не могут, стараются итти в ногу с рабочим классом и понять его пути; они готовы во имя своих основных симпатий не выступать против того в нашей практике, что им не понятно и биться со всякими покушениями на пролетарскую власть и руководящую ею партию. Вот таких-то писателей и следует называть попутчиками. Эренбурги же, Серапионы, Пильняки и т. д. это—враги, хотя и легальные, или же—колеблющиеся представители реакционной части мелкой буржуазии. Предлагаемое употребление термина „попутчик“ более правильно, коль скоро автор термина, Троцкий, имел в виду аналогию с попутчиками в рабочей партии и около нее. Оно и более целесообразно потому, что грань между пролетариатом и его союзниками в литературе с одной стороны и врагами и нейтральными с другой, лежит не по меже, отделяющей белых от сменовеховцев, а по меже, отделяющей людей, поддерживающих строительство социализма от не верящих в него и тянущих к восстановлению буржуазной власти.

Конечно, иная честь Милокову, иная—Устрялову, иная борьба с агентом „императора Кирилла“, и иная—с лояльным кулаком; но ведь и раньше, заключая, например, левый блок против кадетов и монархии, иначе боролись большевики с черносотенцем, чем с либералом. Однако, одно дело союз пролетариата и беднейшего крестьянства с средним крестьянством под гегемонией пролетариата, при его диктатуре; иное дело—смещение всех антифеодальных, антицаристских элементов „Новой России“, без гегемонии пролетариата, без отрыва крестьянства от влияния,

буржуазии. В политике союзу „до Эренбурга“ на основе признания единой „революционной“ или „советской“ литературы соответствовал бы союз „до Устрялова“, без главенства компартии. Нам пришлось сделать это отступление, так как не только были в 1923 году, но есть и сейчас люди, которые этого не понимают и пытаются даже не заметить бьющей по троцкизму в литературе резолюции ЦК РКП. Есть люди держащиеся ориентации на „национальный блок“ в литературе, даже среди расколовшихся ныне напостовцев. Открыто, правда, эта ориентировка прикрывается фразами о чисто-организационных вопросах и своеобразной тактике, имеющей якобы конечную целью отрыв „левых“ писателей от правых.

Что и попутчиков надо различать от пролетписателей—это так же ясно, как и то, что компартия никогда не сливается ни с какой союзной непоследовательно-революционной группой и всегда критикует непоследовательность своих союзников. Если напостовцы и разбили пару лишних стекол, то все же это с колоссальным избытком покрывается их заслугой по борьбе с тем делающим всех кошек серыми, туманом, который покрывал русскую литературу в „воронские“ времена.

3. Левое крыло литературы в 1923 году.

Подлинных попутчиков в 1923 году было несколько групп и одиночек. Организационно примыкал одно время к серапионам, но резко от них отличался по идеологии Н. Тихонов, интеллигент-романтик, полюбивший революцию за силу и красоту военных побед и подвигов, нашедший в революции утверждение своей личности, творец великолепных баллад и стихов о силе и мужестве, войне и революции. Он уже в то время начал трудные поиски Пушкинской свободы, гибкости и выразительности в достойном сочетании с достижениями современной поэзии и с современным материалом. Рядом с ним должно поставить двух прозаиков, по настроению близких Н. Тихонову, испытавших пыльниковское влияние на своей форме, понявших революцию глубже, чем тогда понимал ее Тихонов: Буданцева и Малышкина. Мощную группу составляла интеллигентская богема, пошедшая на службу к пролетариату из ненависти к буржуазии, мещанству и империализму — Маяковский, Асеев и другие „лефы“. Деревенский, сибирский быт эпохи 18—20 г.г. в разных формальных планах (одна—чистый реализм, другой—орнаментальная проза) обрабатывали Вс. Иванов и Л. Сейфуллина. Идеология повестей и рассказов Вс. Иванова — идеология крепкого, себе на уме, крестьянина, ставшего революционером под давлением насилий белых и интервентов, но старающегося шагать за рабочим возможно понезависимей, оставляя себе возможность и остановиться и отойти в сторону. Л. Сейфуллина—представительница интеллигенции, связанной с крестьянством (главным образом средним) и тянущейся

довольно успешно за пролетариатом. К группе попутчиков относились и старые писатели-демократы, с оговорками принявшие Октябрь—Вересаев и М. Горький.

Переход от попутчиков к пролетписателям не представляет собой резкого скачка, как и вообще переходы между классовыми группами в литературе. Здесь были и существуют пока некоторые переходные оттенки. Писатель, в отличие от общественного деятеля, творит максимально одиноко, он не вливает своего творчества целиком в общее дело группы и не может быть подчинен в своих выступлениях полностью партийной дисциплине. Слишком в его творчестве много иррационально-нутряного, которого не подгонишь, к теоретически осмысленным нормам, и которого не изымешь из произведения, не разрушив художественного целого. Это стихийное, инстинктивное может расходиться с сознательным мировоззрением художника, творчество которого не может поэтому быть столь подчиненным общим рационализированным принципам, как творчество ученого или деятельность политика. Отдельные произведения художника, обычно легко поддающегося настроениям и впечатлениям, могут быть частично продиктованы влияниями разных, чаще всего смежных общественных групп. Поэтому о классовой сущности художника нужно судить по общему уклону всего его творчества. Особенно последнее необходимо в наше время, когда пролетариат художественно обслуживается или интеллигентами, близкими к нему по идеологии, но не своим „нутром“, или рабочими, не избежавшими буржуазных культурных и идеологических влияний. Это не значит, конечно, что мы не идем все быстрее, по мере роста силы, культурности и культурной независимости пролетариата и смены поколений к появлению все большего количества чистых и твердых, настоящих пролетписателей.

В 1923 г. на крайне-левом фронте литературы стояли писатели-коммунисты, рабочие писатели, пролетписатели. Не все писатели-коммунисты были чужды интеллигентских, попутнических шатаний и уклонов. Из них Брюсова никак уж нельзя было назвать пролетписателем. Попутчиком, по существу был Луначарский, как драматург. Попутнические уклоны были у Аросева и С. Семенова, отчасти у Тарасова-Родионова в „Шоколаде“. Крайне-левая попутчица Сейфуллина, при всей „правизне“ ее теоретически-литературных взглядов, была несравненно ближе в своем творчестве к пролетлитературе, чем добрая половина произведений С. Семенова. Последний, однако, порою вполне удовлетворял запросам, представляемым к пролетписателю. Не все писатели рабочие были коммунистами по мировоззрению, и потому не все они могли называться пролетписателями. Ляшко еще колебался и шатался, многие космисты впали в панику перед нэпом.

Поэты пролетарии в общем еще не вырвались из плена чуждых влияний и космических абстракций. Зачинатель нового конкретно-

реалистического периода пролетпоэзии, Безыменский танцевал еще близко от своей „печки“ — Маяковского. Пролетарские прозаики еще учились писать. Во главе этой группы стоял Юрий Либединский с его „Неделей“, несколько свихнувшийся идеологически в „Завтра“ и еще не выправившийся в „Комиссарах“, появившихся лишь в 1925 г. Серафимович на революцию откликнулся тогда еще только беглыми набросками. „Железного потока“ еще не было. Неверов, как известно, приобрел пупулярность, главным образом, после своей смерти да и те, кто хотел, мог сомневаться в пролетарском характере творчества этого старого писателя, полуинтеллигента-полукрестьянина, имевшего прежде народнический уклон. Д. Бедный воспринимался вне, хотя бы и „выше“ литературы, да к тому же можно было нарочито примитивно толкуя термин пролетписатель о старом правдистском поэте спросить: разве он вышел из толщи пролетарских масс? Фурманов писал „только“ хроники. При наличии теоретической развязности можно было отрицать пролетлитературу в настоящем, а нарушая все принципы марксистского анализа, делать это и относительно будущего. Таково было состояние русской литературы в 1923 году.

4. Социально-экономические и культурные предпосылки литературного развития последних двух лет.

Такое положение вполне соответствовало тогдашнему хозяйственному, социально-бытовому и обще-культурному состоянию нашей страны. Советская крупная промышленность едва начала восстанавливаться, рабочие — концентрироваться вокруг нее и от делания преслабурых „зажигалок“ переходить к настоящей работе; заработная плата была чрезвычайно низка, а между военным напряжением и культурным подъемом наших дней не изжит был период усталости и стремления „просто“ отдохнуть; деревня оправлялась от военного коммунизма, предаваясь блаженству вольной торговли, а Поволжье еще не оправилось от последствий голода; кооперация отступила на дальние тыловые позиции; фронту просвещения можно было уделить еще самое минимальное внимание; вузы были завоеваны еще весьма поверхностно и, преимущественно, механическими способами; новая пролетарская коммунистическая массовая интеллигенция еще только начинала учиться; своих „спецов“ было еще гораздо меньше, чем теперь; перекрасившихся в защитный цвет старых матерых волков буржуазии и ее молодых волчат не научились еще сразу распознавать в областях не прямо политических. Марксистская критика была представлена товарищами Троцким и Воронским, не считая вовсе уже любительских заездов т. Осинского или произведений такого „марксиста“, как Львов-Рогачевский.

Отношение среднего партийного актива, литературно воспитанного прошлым, к художественной литературе было, примерно средним

взглядом на нее, как на прятный отдых перед сном или в пути или как на что-то, подлежащее охране по ведомству не то Троцкой, не то Луначарского, на-ряду с „лучшим в мире балетом“ и кремлевскими древностями. В лучшем случае глухо вспоминалось „использование“ и привлечение интеллигенции, и что— „в хорошем хозяйстве всякая веревочка пригодится“. Завоевание партийного внимания к литературе было впереди, пролетлитература же ассоциировалась у большинства партийных практиков с пролеткультом, а тот с богдановщиной. Напостовцы только-что начали бить стекла в уютных хоромашах „Круга“ и „Красной Нови“, захваченных „Пильняками“. Словом, тогда в литературе, как и во многих областях высших идеологий, свободно рыскал зверь „буржуазного реставраторства“, а пролетписатель бродил пугливо. Для Пильняка, Эренбурга, Замятина, Толстого, Серапионов было самое благоприятное время. Однако, прошло два года..

...И что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей.
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось —

И основная причина столь быстрого изменения ситуации заключается, конечно, в том, что прошедшие два года были годами великого хозяйственного и культурного под'ема, роста советской промышленности, заработной платы, кооперации, восстановления сельского хозяйства, создания целой армии рабкоров и селкоров, роста грамотности, ленинского призыва, завоевания вузов пролетариатом быстрого развития партпросвещения, усиленной консолидации и созревания новой коммунистической интеллигенции, ее культурного самоопределения. Подросли новые поколения, несравненно более свободные от эстетства, барских замашек, буржуазных влияний, чем недавно еще преобладавшие слои культурной молодежи и вообще грамотных и читающих людей. Изменился читатель. Всем этим обусловлена неизбежная перемена в жизни литературы.

„Количество“ возрастания числа пролетписателей, увеличения их художественной умелости и опытности, созревания их идеологии к 1926 году—явно перешло в „качество“. Вместо отдельных пролетписателей и зародышей пролетлитературы мы видим уже существующую, вполне реальную, самым бытием своим опровергающую софизмы своих противников, еще юную, но здоровую и сильную пролетлитературу, организационно-сплоченную и сознающую себя, как классовую силу „для себя“ вернее—для своего класса.

5. Пролетлитература за последние два года.

Либединский, написав „Комиссары“, во-первых, доказал, что он действительно пролетарский писатель, что идеологический уклон в „Завтра“ был только эпизодом, а во-вторых, сумел противо-

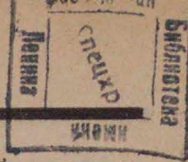
поставить романам попутчиков и „непупчиков“ пролетарское „большое полотно“. В „Комиссарах“ ценен прежде всего широкий и глубокий захват одной из наименее разработанных и наиболее важных сторон современности, именно психологии, идеологического самоопределения и быта коммунистического актива. Сюжетная неслаженность, рассыпчатость последней повести Либединского искупается четкой зарисовкой типов, и при современном кризисе сюжета не лишает „Комиссаров“ права быть сравниваемой со многими лучшими вещами непролетарских писателей, как вещи с ними художественно равноценной. Ф. Гладков, преодолев в довольно значительной степени недочеты своего письма эпохи „Огненного Коня“, опубликовал в 1925 г. произведение более значительное, чем „Комиссары“. Все художественные и идеологические недостатки „Цемента“ искупаются интересами темы, в целом разрешенной удачно, острой постановкой ряда вопросов, живостью отдельных сцен и смелой широтой захвата. С точки зрения общественной материал и тема Гладкова—восстановление завода и жизнь рабочей ячейки и провинциальной партийной верхушки—еще актуальнее „военной“ темы Либединского. Знаменателен поворот, происшедший в творчестве Ляшко. От индивидуалистических, бездейственно-психологических тем, от абстрактного гуманизма, от сомнений и оговорок по поводу революции, Ляшко за последние два-три года шагнул к безоговорочному принятию пролетарской диктатуры, к постижению пафоса великой революции, к темам производственным и социально-психологическим. „В разлом“ одно из наиболее занимательных, интересных в психологическом и бытовом плане, бодрых, „радостных“ эмоционально заражающих подлинно революционным настроением, произведений современной литературы. „Доменная печь“—производственная повесть,—своим здоровым реализмом и четким изображением партийной хозяйственной повседневной работы и борьбы превосходит „Цемент“, уступая последнему в широте захвата и остроте поставленных вопросов.

В большого художника вырабатывается Георгий Никифоров, писатель, берущий своими темами теньевые стороны нашей современности, жизнь и психику дезорганизованных или временно уклонившихся с твердого классового пути представителей пролетариата. Он не всегда достаточно идеологически четок, но он прекрасный мастер сказа, описаний, знаток глубин рабочего быта, органически впитавший в себя пролетарское мироотношение. Его историческая повесть „Седые дни“ великолепно изображает „изнутри“ в деталях и внутренней технике—героическую борьбу пролетариата в 1905 году. В 1925 году написаны значительные произведения тремя, до того мало-известными пролетарскими писателями: Л. Грабарем, Коробовым и Фадеевым. „Катя долга“ Коробова—„хроника“ недостаточно обработанная в формальном отношении, но глубоко-правдивая и захватывающая—развертывает чрезвычайно живую яркую картину

социальной, хозяйственной и культурной борьбы в деревне. Коробов на основе новых материалов разрабатывает проблемы деревни и, особенно, освобождение крестьянки, шире и глубже, чем это сделано в „Вирине“ Сейфуллиной и в „Андроне Непутевом“ Неверова. Грабарь безбоязненно коснулся одной из интереснейших проблем современной жизни—разложения и падения известной части коммунистов под давлением капиталистических элементов нэпа и влияния мелкобуржуазной среды. С большой и трудной задачей Грабарь справился и художественно и идеологически вполне удовлетворительно. Фадеев в неоконченном еще „Разгроме“ дал более дифференцированную картину сибирской партизанщины, чем все его предшественники по этой теме; он и очень удачно разрешил трудную задачу: показать психологию и механику партийного большевистского руководства этой стихией. Молодые ленинградские беллетристы М. Карпов и Ал. Тверяк, „сдав экзамены“ своими книжками рассказов „Апрельские прели“ и „Ситец“, несколько еще схематичными и сыроватыми, с успехом перешли к разработке вещей „большой формы“, с широким захватом, большей смелостью мысли и тщательностью обработки.

В актив пролетарской литературы следует отнести также роман Березовского „Степные просторы“, „Болотное“ Ив. Васильева и прекрасные хроники: „Большевики“ Алексева, „От станка к баррикаде“ Иванова, всем известные произведения Фурманова. К более отдаленному прошлому, но все же к началу здесь рассматриваемого периода относятся: одна из наибольших пока вершин пролетарского творчества—достаточно уже известный и анализированный „Железный поток“ Серафимовича; удавшийся гораздо более „Шоколада“—„Линев“ Тарасова-Родионова, а также талантливая повесть М. Борецкой „Гнев народный“. Скоро смогут, пожалуй, соперничать со многими из перечисленных здесь пролетарских растущие представители пролетарского писательского молодняка, как напр. ленинградцы—Шпынарь, Ив. Никитин, москвичи—Афрамеев, Евдокимов и другие. А за ними идет громадная масса вырастающих из рабкоров, селькоров и юнкоров пролетарских писателей, кровно связанных с классом и партией. Эти писатели и будут основой новой массовой литературы, всегда составлявшей вокруг „вождей“ и „гениев“ широкую ткань литературной эпохи, поэтической культуры.

Эта массовая литература и этот писательский середняк в условиях невиданно-широкого культурного движения и распространения культуры в ширь российских пространств и в глубь рабочих и крестьян должны играть особо важную роль. Но из этой же организованной пролетарской и идущей за пролетариатом крестьянской массы молодых писателей, ожидать появления „пролетарских Толстых“, конечно, гораздо естественнее, чем от самопроизвольного зарождения гениев вне организационных и идейных связей с наличной пролетлитературой, в какой-нибудь уставленной геранями комнате Чухломы или



среди люмпенской деклассированной шпаны, ночующей в трущобах больших городов. Есть любители помечтать об этакой возможности, опрокидывающей-де все планы и теории „напостовцев“. Но нельзя же всерьез противопоставлять марксистскому прогнозу гадание на кофейной гуще.

Пролетарская поэзия сперва, как это чаще всего бывает в литературе молодого поднимающегося класса, опережала прозу. За последние два года поэзия и проза пролетариата подравнялись. Во всяком случае нужно отметить, что пионер „снижения“ пролетпоэзии с космических высот до вопросов и картин революционного быта, Ал. Безыменский стал значительно свободнее владеть формой, синтезируя различные достижения поэтического развития. Значительным явлением надо считать довольно удачное в целом овладение пролет-поэтов „большой формой“—поэмы Казина, Уткина, Ив. Васильева, Обрадовича, Е. Панфилова, Крайского. Крепкую фалангу составляют более или менее молодые пролетарские лирики: Доронин, Санников, Панфилов, Саянов, Б. Соловьев и др. Хорошую книгу стихов „Простей Простого“ выпустил И. Садофьев.

Качественный, количественный и организационный рост пролет-литературы благотворно влияет на запутавшихся товарищей, выпрямляет ошибки отдельных рабочих и коммунистических писателей. Мы уже говорили о выпрямлении линии творчества Либединского, Ляшко и Гладкова. С. Семенов, наряду с академически-ученически ненужной „Предварительной могилой“, дает за последнее время не только натуралистически-точное изображение жизни отсталого дореволюционного рабочего в „Копейках“, но такую актуальную и идеологически выдержанную повесть из коммунистической жизни, как „Петли одного и того же узла“, ставит наиболее важные вопросы партийного и рабочего быта в своем новом, еще не законченном романе. Аросев в своей несколько неслаженной повести „От желтой реки“, хотя и дает попрежнему упадочный тип коммуниста, но показывает корни его упадочности в мелкобуржуазной среде, его воспитавшей, в эс-эровском прошлом и противопоставляет ему с явной симпатией коммунистов, молодых и старых, не падающих духом. Может быть под влиянием роста пролетлитературы и дошедшие было до „Русского Современника“ Герасимов и Кириллов—поэмами о 1905 годе делают шаги к возвращению в старые, родные им ряды.

6. Пути пролетлитературы.

Как пролетарская проза, так и пролетарская поэзия в своем главном русле обратились от прославления „героического прошлого“, от пафоса общих коммунистических положений, от мечтаний о великолепном будущем к настоящему во всей его сложности и борьбе, во всем его повседневном величии медленного перерастания в социалистическое будущее. Пролетлитература обратилась к характерному

для нашего времени процессу трансформации энергии и упорства, выкованных в подпольи и на фронтах, в силу строящую новое общество и новую культуру к „мелочам“ промышленного, кооперативного, профессионального, учебного строительства и производственной работы. Литература пролетариата не впадает в близорукий пафос „малых дел“ и обслуживания одних ближайших задач, она сохраняет чувство переходности нашей эпохи, как нового этапа в борьбе за величайшие идеалы человечества, как своеобразного пути непримиримой борьбы со старой культурой. Литература имеет дело преимущественно с проблемами быта, культуры и психологии, где наследие старого мира особенно сильно, мучительно и безобразно; поэтому пролетлитература в естественном отвращении к мещанству и в жажде напряженных эмоций не забыла „романтики“ недавней боевой эпохи и полна „священной ненависти“ к растущим и укрывающимся в сутолоке нашего строительства старым и новым, безличным и одушевленным врагам пролетарского идеала. Все это спасет ее от серого „бытовизма“ и безидейного натурализма.

Наша пролетарская литература видит сложность, противоречивость окружающей нас действительности, борьбу в ней противоположных тенденций. Естественное у литературы растущего класса в эпохи органического строительства стремление к обобщающему реализму и повышенный интерес ко всем сторонам жизни современности, все более овладевает пролетписателями. Наша литература становится все смелее в постановке трудных жизненных проблем, в указании недочетов, ошибок, язв нашего строительства, в изображении темных сторон быта и еще далеко недостаточно революционизированной психики рабочих, крестьян, молодежи, коммунистов. Это относится как к пролетарской прозе, так и к поэзии („Шпана“ Панфилова, „На родине“ Ив. Васильева). Пролетарская литература, хорошо учуяв, где самая опасная и на ближайшее время спорная позиция социалистического строительства, внимательно изучает и изображает деревню. Волнует пролетлитературу быт нашей молодежи, работающей и учащейся, классово-сознательной, полумещанской и люмпенской („Шпана“ Панфилова, „Две смены“ Г. Никифорова). Все это доказывает, что пролетлитература уже твердо стоит на правильном пути, в смысле и художественном, и общественном, отбросив и газетные штампы, и агитреляции, („все обстоит благополучно“). Несвязанные с настоящим космические абстракции и воздыхания об „ярком“ прошлом перестали занимать пролетлитературу.

Это тем более значительно, что непролетарская литература, включая и попутчиков (но *исключая* откровенных врагов революции вроде Эренбурга), обращается все больше к прошлому, далекому и недавнему, к чисто формальным упражнениям, к иностранной жизни, к отвлеченно-психологическим темам. О. Форш пишет исторические романы, А. Н. Толстой—исторические пьесы и чисто авантурные

романы. Бабель взялся за автобиографические рассказы. Темы задуманных Горьким новых вещей сплошь дореволюционны. Лидин обращается к жизни заграничных отелей, к лопарям и ушедшим из мира скопцам; кое-кто „месс-мендствует“. Но еще гораздо более показательно то, что большинство попутчиков не выходит за пределы гражданской войны, поближе к современности. Так поступают: Бабель, Сейфуллина, Леонов, Федин отчасти и Романов, Вс. Иванов, Лавренев, Яковлев и другие.

Это понятно: споры, лежавшие в основе гражданской войны, решены вполне определенно ее исходом. Здесь против рожна не попрешь, и ничего не остается, как быть „объективным“, т. е. говорить о победе и превосходстве силы красных. Кроме того—и это еще важнее—даже лучшие из попутчиков хорошо понимают и принимают нашу победу в гражданской войне, поскольку это была победа всего трудового русского народа над чужеземным империализмом, крепостничеством, дворянством, казенным национализмом, а не только победа пролетариата над буржуазией. Им гораздо труднее понять и принять современную борьбу социалистических элементов хозяйства с капиталистическими, пролетарской культуры с буржуазной. Не желая итти против рабочего класса, лояльно-нейтральные, попутнические и не желающие показать себя откровенно враждебными писатели уступают пролетписателям настоящее и его боевые проблемы, за которые не хотят или не решаются, не понимая их, взяться, а сами разрабатывают прошлое, иноземный материал и решают проблемы чисто-психологические и формальные. Против такого разделения труда нечего возразить: оно обеспечивает настоящее идеологическое господство за пролетлитературой, превращая остальных писателей в „спецов“ формы и работников в областях подсобных в смысле общественной актуальности. Лучшая часть попутчиков умеет помогать пролетлитературе и в идеологической оценке прошлого и сумеет помочь в решении частных проблем настоящего.

В отличие от других литературно-классовых групп пролетарская литература настолько уверена в своем классе и в себе, что не боится „вкладывать персты в язвы“ нашей современной ответственности и помогать их лечению. К сожалению, однако, наша художественная литература идет еще слишком позади теоретической и практически-политической мысли коммунистической партии и рабочего класса, иллюстрируя добытые этой мыслью положения, приводя в их пользу новые доказательства, но сравнительно мало предупреждая о новых опасностях, не подымая оставленных теоретиками в тени проблем, не пытаясь решать их рядом и наравне с политиками. А такая хотя и вспомогательная, но инициативная роль пролетлитературы, вообще говоря, вполне возможна. Глаз большого пролетарского художника может быть по своему не менее зорок, а мысль его не менее остра, чем глаз и мысль теоретика

и политика-практика. Конечно, наша литература не может претендовать на исключительную и универсальную роль старой „героической“ русской литературы, роль, обусловленную абсолютной придавленностью других областей общественной мысли. Однако, при необходимости напряжения всех сил рабочего класса в нашу эпоху великих задач, при исключительной деловитости и практичности пролетариата во всех областях его умственной работы, наша пролетарская литература не может играть роли только „украшения“ жизни и средства отдыха. Более того, при сложности именно бытовых и культурных проблем ей естественно быть не только средством агитации и популяризации, но и делать самостоятельную работу познавательную и предупреждающую об опасностях, привлекающую внимание к новым вопросам.

Пока что, однако, наши молодые (отчасти и старые по возрасту) пролетписатели слишком еще не уверены в себе лично, в своем праве и в своем умении мыслить и говорить в первых рядах живой творческой части пролетариата. Поэтому еще порою, даже блестящие, но не очень глубокие фельтоны т. т. Сосновского, Зорича. Кольцова опережают художественные произведения наших беллетристов и поэтов в призывах партийного и классового внимания на недочеты и противоречия нашего бытия. Конечно, художнику трудно предвидеть тенденции развивающейся жизни так далеко вперед, как делают политические вожди: тенденции эти трудно выразимы в конкретных образах. Трудно художнику и так смело кричать об язвах, как делает фельетонист, ибо то, что у фельетониста выглядит, как констатирование единичного факта, у художника получает характер обобщения. Но бурный рост пролетарской мысли и литературы порукой за то, что наша литература скоро станет не менее активной в разработке проблем революционного строительства, чем пролетарская политическая мысль. Тогда мы скажем, что пролетлитература вступила в период зрелости. Ее здоровая и сильная юность—уже помимо всех прочих соображений—ручательство в величии этой зрелости.

7. Вырождение старо-буржуазного и сменовеховского крыла литературы.

Совершенно другую по сравнению с 1923 годом картину представляет собою современная буржуазная и мелкобуржуазная литература. Здесь отчетливо видно отмирание и всяческие виды вырождения правой части и усиление все более приближающейся к пролетлитературе, к подчинению ее идейной гегемонии—левой. Сохранилось еще, но значительно уменьшилось, художественное, вернее техническое, превосходство попутчиков и лучшей части колеблющихся писателей над пролетлитературой. Уменьшением этим мы обязаны быстрому росту технической умелости пролетписателей. Все это

и выше указанное явление „переступки тем“ позволяет уверенно говорить, что наиболее тяжелые этапы решающей борьбы пролет-литературы за гегемонию пройдены, победа предрешена. Дореволюционное, буржуазно-дворянское крыло русской литературы более не существует, как актуальная сила современности. Молчат или пишут плаксивые воспоминания о „добром старом времени“ и лубочные пасквили на новую Россию окончательно оторвавшиеся от русской почвы эмигранты. Что касается внутренней, „внеоктябрьской“ литературы, то молчат уже давно и, как видно, безнадежно: Ахматова, Сологуб, Вяч. Иванов, Кузьмин, Мандельштам. Последние вещи А. Белого ни скучнейшей тематикой, ни мистически-юродствующей идеологией, ни дальнейшим утрированием нарочитого, путаного, ничем не мотивированного в своем искажении языка „Петербурга“ не привлекли ничего серьезного внимания. Переходят в бред смешение двух планов и алогически развивающаяся стихия импрессионстической образности в соединении с антиреволюционным содержанием в последнем произведении Замятина („Рассказ о самом главном“), производя уже преимущественно комическое впечатление. Самая традиция Беловски-Замятинских исканий в области композиции и стиля (в их более или менее законченном выражении) оказала на современную литературу весьма слабое влияние, гораздо более слабое, чем претворяющаяся в одну из важных составных частей создаваемого поэтического синтеза традиция футуризма. Уже почти никто из настоящих талантливых писателей нашего времени не идет в основном за этой реакционной традицией, казавшейся в недобрые „Пильняковские“ дни господствующей в новейшей русской литературе. Лишь некоторые, отдельные технические достижения Белого и Замятина используются в передовой нашей литературе.

Основные композиционно-стилистические искания развиваются совсем в других направлениях. Великолепная краткость и сконцентрированность новелл Бабеля, его подлинное чутье живых стихий языка; величавая суровость и выразительность речи Федина; углубленный, четкий, по существу реалистический психологизм и бытовизм Сейфуллиной, Леонова и того же Федина; сюжетное богатство и стройность лучших вещей Лавренева и Каверина, все это явно показывает преодоление Белого и Замятина и в попутнической литературе. Пролетлитература неизбежно должна стремиться и стремиться пользоваться четким и понятным общепринятым языком с оттенением важнейших моментов живых разговоров, жаргонов, ее влечет к критическому, социально-психологическому реализму, она стремится создать ясный и занимательный сюжет и ищет свежего материала. Поэтому она окончательно отбросит декадентское в наследии Белого и Замятина, подучившись у них лишь немногим техническим приемам.

Бесславный конец Пильняка в „Машинах и волках“ окончательно подтверждает, что и Белый, и Замятин, и Пильняк,

и пильняковцы были не только в идеологическом, но и в формальном отношении отнюдь не началом новой русской литературы, а лишь последней конвульсией старой, дореволюционной. И. Эренбург и А. Н. Толстой являют примеры типичного вырождения. Эренбург, был в „Хулио-Хуренито“ по крайней мере остроумным фельетонистом, направившим в буржуазный запад хорошо подобранные и заново отточенные стрелы чужих мыслей.—В „Жанне Нэй“ он сделал откровенную попытку „попасть в точку“ обывательских запросов современной мещанской толпы возрождением сентиментального жанра, подновленного композиционным оформлением в плане детективного газетного, „подвального“ романа. „Жанна-Нэй“ идеологически характеризуется полным отсутствием жизненных и значительных героев, дешевым мелодраматизмом, опошленной „достоешчиной“, порнографическим привкусом и грошовой философией, всепобеждающей и всеосмысляющей половой любви, философией, рассчитанной на окультуривающихся и оседающих вчерашних мешечников и валютчиков. Не удивительно, что это произведение Эренбурга может с успехом претендовать на роль образцового романа для вагонного чтения.

Наконец, в „Рваче“ Эренбург окончательно показал свою подлинную природу типичного литератора für alles, газетно-журнального расторопного малого и контрреволюционного обывателя. В последнем романе Эренбурга нет ни малейших признаков художественной убедительности, проникновения в глубины жизни, умения создавать цельные и жизненные характеры. „Рвач“—сплошной фельетон „обо всем“ и ни о чем по существу, почти без диалогов, без последовательного психологического развития „героев“, особенно главного, без верных и значительных обобщений. Опять—всепобеждающая эротика, опять схематически-безжизненные „настоящие“ коммунисты, сгибаемые половой страстью. В центре романа—гнусный герой, претендующий быть обобщающим типом людей пробужденных революцией и себя в ней нашедших, и любованье нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в „русские Шпенглеры“ ставшего фельетонистом-популяризатором „Устряловщины“.

А. Н. Толстой также—может быть и временно—выходит из настоящей литературы. „Ибикус“—детективная дешевка, „Гиперболонд инженера Гарина“—лишь приличным языком, да последним оттенком умеренности в нагромождении лубочных эффектов отличается от „Месс-Менд“, а коллективное стряпанье со Щеголевым „душезахватывающих“ кино-сценариев и пьес лежит, конечно, уже вовсе вне литературы. Столь же расхваленные Воронским „Голубые города“ вовсе не являются каким-либо достижением по сравнению с прежним творчеством А. Н. Толстого. Идеологически же эта повесть антиреволюционна, она сталкивает „романтизм“ революции и неподвижную

косность быта „уездной“ России и как единственный выход для революции указывает самоубийственно-анархический бунт.

Пильняка постигла окончательная литературная смерть (в отличие от смерти физической, она не исключает некоторой надежды на воскресенье писателя в новом виде). „Машины и Волки“—прямое доказательство этой смерти. Вместо былых потуг на „сюжетные сдвиги“ и несюжетно-скрепленную композицию—откровенный хаос и ничем не мотивированное юродство случайных переходов от темы к теме, от эпизода к эпизоду повторений и вставок самых разнообразных кусков сырого материала вплоть до статистических таблиц. Вместо лирики давно надоевшие бесформенные сочетания слов о волках, мятежах, человеке, Рассее, Коломне, болотах, чертях. Вместо идеологии нудное пережевывание старых фраз о волчьей мистике и пьянстве деревни, о никчемности интеллигенции, вырождении и дворянства, эротическом помешательстве, об абстрагированном и схематизированном заводе, о пропасти между заводом и деревней, интеллигенцией и народом, мистикой и машиной. Все это дополняется скучной игрой в шрифты и наборы, в цитаты из самого Пильняка в нагромождение слов, вычитанных из исторических и диалектических словарей. Все это и в меньших количествах у того-же Пильняка надоело до тошноты. Если „Материалы к роману“ Пильняк пытался выдавать за „обнажение приема“, то „Машины и Волки“ уже явное обнажение своего бессилия и неумения. Лидин и Никитин на пильняковских путях, кроме скучных и ненужных пустяков, хотя бы и многолистных („Полет“) ничего не создали.

Серапионы: Слонимский, и Зошенко все более отходят вглубь заднего плана литературы. Зошенко определился, как новообывательский заместитель Аверченки, менее талантливый, чем удостоенный ленинской рецензии сатириконец. Когда же Зошенко пытается дать что-либо веское, то получается либо прямое ограбление мотивов Достоевского, наспех перенесенных в современность („Страшная Ночь“ ср. „Господин Прохарчин“), либо старые, как мещанские города, анекдоты, соединенные с обывательским брожением и меланхолическим зубоскальством на счет притеснения его, Зошенко, идеологической критикой. Слонимский, уже в „Шестом Стрелковом“ обнаруживал лишь дар переимчивости а теперь он никак не может выжать чего-либо из своей идеологической пустоты и отсутствия художественной оригинальности. Слонимский то бросится к изображению людей американского делового типа и чуть-ли не к производственным темам („Машина Эмери“) то возродит традицию изображения русского бестолкового характера, широкой и пассивной натуры и скорби с „лишнем человеке“ („Однофамильцы“). В „Черныше“ Слонимский с удовольствием изображает окончательно обывательившихся, бывших участников гражданской войны и восстановление нудно-безысходного мещанского быта на разрушенных революцией старых уютных местах, беспро-

светную тоску новых буден, где нет ни намека на то, что есть что-то творческое, новое, борющееся, бодрое. Такие произведения, как „Черныш“, — а эта повесть неодинокое — объективно служит целям мещанско-буржуазной реакции. Их смысл сводится к тому, что революция кончена. Наступили серые будни, кончены былые безумства, нет никаких иных перспектив, кроме утверждения обычных буржуазных условий бытия и быта. Это — идеология старого и нового мещанства и стремящихся омещаниться бывших „революционеров на день“. Живой, активный, новый читатель и живой растущий писатель давно отвернулись от Белых, Пильняков, Эренбургов, Никитиных. Они не хотят брать всерьез ни „Гиперболоида“ ни Зоценковских рассказов.

8. Тенденция возрождения буржуазной литературы.

Все вышесказанное однако отнюдь не должно быть понято в том смысле, что враждебная революция (или — что то же — замалчивающая ее или искажающая ее смысл), буржуазная и реакционная мелкобуржуазная литература, окончательно ликвидированы. Наоборот, под влиянием растущего на почве нэпа частного капитализма в деревне и в городе, капитализма, хотя и обгоняемого ростом государственного и кооперативного хозяйства, но в абсолютных числах возрастающего — должна возникнуть, вместе с рецидивами своеобразно измененной буржуазной идеологии вообще и новая буржуазная и идущая за ней мелкобуржуазная литература. Устрялов неизбежно найдет себе литературные соответствия. И так как в области художественного творчества, ныне, как и всегда, обойти цензурные заграждения легче, то по руслу литературы буржуазные настроения могут пойти особенно интенсивно. „Рвач“ Эренбурга своим совпадением с тенденциями книги Устрялова весьма показателен. Характерно и появление явно заостренной против революции книги рассказов Булгакова „Дьяволиада“. Если Толстой, „старшие“ Серапионы, Пильняковцы не сумеют приспособиться к идеологическим потребностям новой буржуазии или сумеют лишь усладить ее отдых и немножко щекотать ее нервы, то найдутся старые и новые писатели, которые художественно выразят и оформят мечты и стремления кулаков, частных капиталистов и необуржуазной интеллигенции жаждущих видеть свое „царство“ на месте СССР.

Одним из наиболее талантливых выявлений новой кулацко-буржуазной идеологии в литературе является „Диво-дивное“ В. Шишкова. В этом рассказе автор „Ватаги“, по-кулацки искаживший общественный и политический смысл сибирской партизанской революции, со своеобразным восхищением и любованием дает любопытнейший образ нового кулака. Этот хозяйственный мужичек, хищник, стремящийся разбогатеть всеми способами, очень инициативный, по-своему культурный, является в то же

время искренним „патриотом“ Советской родины, Красной армии, защищающей в его представлении его и подобных ему от иноземного империализма, почитателем красной дипломатии. Советскую Россию он воспринимает чисто националистически, одинаково хвастая и выдуманными победами царя над японцами и мощью красных войск. Ему кажется, что в новой России особенно много простора его кулацким вождениям. Он смеется над коммунистическими затеями власти, но очень доволен отобранием земли от помещиков, очень радуется внесению культурного и технического прогресса в деревню. Он убежден, что ему легко удастся обмануть дух Ленина, за которого он принял (весьма характерно!) статую Минина на Красной площади. Обман его примитивен, но на деле часто удается по отношению не только к злополучным „деревенским работникам“ совласти и партии. Кулак попросту утверждает, что он самый беднейший мужик во всей деревне, а принарядился лишь случайно; он уверяет, что за электричество в деревне он так уважает Ленина, что готов мириться с безбожием большевиков, что в своих занятиях контрабандой он кается, и готов помолиться о Ленине („за упокой“) и помянуть его. За откровенную и прямую правду этого места можно с легким сердцем поблагодарить Шишкова и простить ему кулацкий дух всего рассказа. Мы знаем, что подменить Ленина Кузьмой Мининым и выдать кулаков за бедноту ни каким Устряловым не удастся. Но кулацкая хозяйственность и лояльность обманула уже не одного Богушевского. „Богушевщине“ найдутся, конечно, и литературные соответствия, и свой Богушевский может явиться в пролетарской литературе. От такого рода „пролетарских писателей“ объективно обслуживающих кулака придется скоро решительно отмежевываться, как, конечно, и от Ларинских тенденций, отражающих неосмысленный страх и стихийный бунт отчаявшейся части бедноты, против экономического оживления деревни.

Если в рядах пролетарской литературы необходима будет внутренняя борьба против разного рода „уклонов“, то не менее жестокая борьба предстоит с растущей новой буржуазной литературой. Старая буржуазная литература и интеллигентская путаная литература типа Пильняковщины по существу слабела после революции, сдавала позиции, приспособлялась к обстановке, а порою и действительно менялась под влиянием революции и приближалась к последней (левее напр. Л. Гумилевского, Муйжеля, М. Шкапской, Вс. Рождественского). Теперь ново-буржуазная литература в известной своей части и на известный период будет, исходя из „общесоветских“ общеобязательных теперь позиций, все более отдифференцироваться от идеологически крепнущей пролетарской литературы, не приближаться, а отходить от нее. Если попытки Воронского приручить уступками и „лаской“ старую буржуазную литературу имели частичное оправдание в начале его деятельности, то по отношению к неслабеющей и несдающей, а начинающей расти и самоопре-

деляться новой буржуазной литературе, нужна политика резкой и четкой идеологической борьбы.

Эта борьба и может способствовать и „обращению“ некоторых из чужих писателей, переходу их к нам, под влиянием побед социалистической экономики, культурного строительства, роста законности и советского демократизма. Кающихся же отталкивать вообще не в духе пролетарской политики. Но и по отношению к уклонам в своей собственной среде и по отношению к нарождающейся буржуазной литературе пролетарская литературная мысль и организация должны стоять в боевой готовности на своем уже привычном сторожевом посту. Сейчас это необходимо, может быть более, чем когда-либо. Надо зорко глядеть вокруг, ибо опасность сейчас гораздо более замаскирована и может ити из самых неожиданных мест.

9. Писатели, пытающиеся быть нейтральными и колеблющиеся.

Наряду с явным упадком старобуржуазной, реакционно-мещанской и сменовеховской литературы последние два года ознаменованы появлением нескольких талантливых молодых писателей, идеологически еще не определившихся окончательно и или искренне пытающихся быть нейтральными наблюдателями и изобразителями происходящего или искренне-колеблющихся и сомневающих по ряду суб'ективно для них или об'ективно важных вопросов, выдвинутых революцией. Эти писатели—П. Романов, Л. Леснов, К. Федин. К ним условно можно отнести и некоторых других, менее известных. Для них характерны отнюдь не явно контрреволюционные усмешки Замятина, не развязная готовность Эренбурга разрешить все мировые проблемы с точки зрения богемски-обывательского скептицизма, не уездно-мистическая истерика Пильняка, а наоборот—серьезное, вдумчивое, добросовестное изучение действительности, искренние сомнения и размышления. Это—интеллигенты, видящие мощь пролетарской революции, но не всё в ней понимающие или способные „принять“. Они отнюдь над ней не издеваются, не хнычут по поводу нее, не бьют поклоны „капиталу мешечников“, кулаку или якобы победившим мещанским будням. Формально им свойственны серьезные и разнообразные поиски своей манеры письма, отнюдь не на тупиковых путях Пильняка, не в дешевых достижениях Эренбурга, А. Н. Толстого, а в попытках гораздо более широкого синтеза старых и новых традиций со своими собственными новшествами ¹.

¹ Но П. Романове, Федине, Леонове я здесь останавливаюсь более подробно, чем на других писателях, так как ни в этой книге, ни в других работах я не успел высказаться о них так, как они этого заслуживают, т-е. или отдельными статьями или, по крайней мере, на нескольких страницах. Особенно подробно говорю я о Романове, сознавая свою частичную ответственность за слишком односторонне хвалебную статью Н. Фатова в альманахе „Прибой“, помещенную без всяких примечаний.

Основное произведение П. Романова „Русь“ (пока нам известна еще неполностью напечатанная первая „довоенная“ часть) — громадный роман с предполагаемым широким захватом различных общественных групп перед войною в войне и в революции. В первой части мы видим лишь сельско-усадебную Русь. Композиция, стиль, вся манера письма „Руси“, равно как и ее тематика целиком продолжают традиции классической дворянской русской литературы. „Русь“ своеобразно синтезирует: Тургеневскую мягкую лиричность и эмоционально-ласковую окраску изображения природы и психики; усвоенные от Льва Толстого переплетение фабульных линий, детальность психологического анализа, порою жестко и даже грубовато натуралистического; гоголевскую манеру утрировать смешное, нелепое, безобразное до почти-теряющих правдоподобие размеров. Прямые предшественники П. Романова—Зайцев, Бунин и А. Н. Толстой по форме и особенно по тематике разложения провинциального дворянства. П. Романов внешне мягче и жалостливее относится к изображаемой среде, чем А. Н. Толстой, хотя он еще яснее Толстого сознает ее обреченность и смертельную болезнь. П. Романов в отличие от автора „Заволжья“ и „Хромого барина“ берет своими героями не столько хулиганствующих, дерущихся, публично продающихся с женами и детьми, одичавших захолустных дворян, — сколько внешне-культурных помещиков благодушно-тунеядствующих, мечтающих об обновлении, незлобно-веселящихся. Но получается все же, что, по сравнению с героями Романова, сатирически заостренные фигуры Ноздрева, Обломова, Тентетникова—кажутся чуть ли не героями и заслуживающими уважения людьми. Так далеко шагнуло к концу дворянского века разложение поместной среды, и так решительно, хотя и жалостливо выносит ей смертный приговор автор.

Кое-кто говорит про „Русь“ что это—запоздавшее и ненужное эпигонство. Но если это и эпигонство, то—блестяще-талантливое, создающее ряд четко врезавшихся в сознание живых фигур, достойных стать надгробными памятниками погибшему укладу жизни. „Русь“ доказывает громадные возможности, развертывающиеся перед талантом Романова. Основной недостаток „Руси“ заключается, конечно, в слишком беглом изображении деревни, и притом изображении ее однородной, сплошной, насквозь пассивной, какой-то безнадежно бездейственной, равнодушной ко всему, умеющей лишь праздно трепать языком, да бестолково суетиться, собираться сделать горы работы, а на деле неспособной даже мостик починить. Совершенно правильно отметил один из критиков П. Романова, что автору „Руси“ будет трудно правильно показать революцию, исходя из такого понимания довоенной деревни. Кроме того „Русь“ сильно растянута и переполнена рассуждениями автора, не очень глубокими и свежими.

Безземельная, загнанная царизмом, истощенная паразитами-дворянами, обсосанная кулаками деревня до революции в значительной мере заключает конечно, в себе вскрытые П. Романовым

элементы обломовщины, но было в ней, конечно, и много ненависти к угнетателям, жажды света, придавленной, но не убитой инициативы. Романов воспитан усадебно-деревенской, Обломовски—Тюлинской (Тюлин из „Река играет“) Русью; он слишком обобщает в черты русского национального характера те пережитки барски-мужицкой лени, неорганизованности и пассивности, которые, конечно, еще бродят у всех нас в крови в различной мере, о которых с гневом и негодованием говорил Ленин. Романов как-будто бы не видит черт, обнаруженных не только русским рабочим, но и русским крестьянином в революции, не видит как-будто бы и роста этих черт, совсем противоположных Обломовщине.

Это—коренной порок таланта Романова, от которого надо избавиться еще более внимательным и более объективным изучением современности. Из этого одностороннего отношения Романова к русской, преимущественно крестьянской действительности—и—основные мотивы его сатирических рассказов, посвященных главным образом эпохе гражданской войны.

Лень, апатия, тупая покорность самоуверенным головотяпам, наивно-хищническая жуликоватость, неумение соображать в скольконбудь новой обстановке, животный эгоизм, отсутствие элементарных общественных навыков, отсутствие настоящей деловитости при широком размахе праздных мечтаний, вот о чем говорят и по каким сторонам быта и психологии масс бьют рассказы П. Романова. В этих рассказах нет ни злобы к революции, ни обывательского подлого смешка над всем стоящим выше мещанского разума, ни разухабистого наплевательского цинизма. Они по своему полезны, эти рассказы Романова, но односторонни, внешне-анекдотичны, и потому однообразны, и начинают становиться скучными при всем блеске своего юмора и прекрасном языке. Впрочем за юмором Романова скрывается порою любовное и участливое ощущение нового, внесенного в жизнь революцией и любовь к придавленным наследием прошлого представителям недавно еще угнетенной массы. Об этом свидетельствует рассказ „Черные лепешки“, напечатанный в „Кр. Нови“. Чрезвычайно художественные по выполнению „Рассказы о любви“ при всей их местами внепространственности и вневременности, показывают все же и острую и умную наблюдательности автора по отношению к новым жизненным явлениям. Впрочем порою Романов кажется по-Зошеновски — „использующим“ старых писателей в своих рассказах и по-Зошеновски легковесным. (Например: рассказ „Блаженные“ в „Кр. Нови“ и др.).

Романову еще предстоит окончательно самоопределиться идейно и художественно и здесь перед ним два пути: или полуэпигонское писание в разных жанрах, талантливые перепевы уже разработанных идей и манер письма, или создание своего подхода к новой жизни России, подхода предполагающего выработку определенного отношения к движущим силам и целям революции.

Большой интерес вызывает в себе и творчество Л. Леонова. „Петушихинский пролом“ обнаруживал лишь большой лирический и стилистический дар и влюбленность в уходящую Русь. В „Конце мелкого человека“ не очень большое ценное ядро воспроизведения психики „издыхающего от революции“ насквозь прогнившего буржуазного интеллигента и одичавшей средне-интеллигентской среды в голодные годы гражданской войны было покрыто слишком толстой корой утрированной болезненной „достоевщины“. „Записки Ковякина“ подавляли сырой массой давно уже—и лучше—обработанного другими материалами. Остальные вещи Леонова до „Барсуков“, были не более, как пробами сил, правда поразительно удачными для столь молодого автора.

Но „Барсуки“ являются уже одним из интереснейших литературных произведений последнего времени. Правда, композиционно роман плохо сложен; его первая часть совсем не нова ни в типах и обстановке, ни в основном освещении. Эта первая часть почти „до неприличия“ напоминает „Трое“ Горького. Не выдержан образ Настя с ее мало понятным превращением. В романе есть и другие существенные недостатки: неуместная „стилизация“ крестьянской психики под Достоевского в третьей части, непонимание расслоения деревни, беглость и какая-то отчужденность в зарисовке портрета большевика Павла, поверхностное и неверное понимание сущности отношений рабочих и крестьян в нашей революции. Но уже с первой части ясен талант автора, сумевшего заставить с интересом читать о таких давно знакомых фигурах, как Настя, ее отец и другие Зарядские обыватели. В следующих частях ряд отдельных мест показывает чуткость и зоркость автора к характернейшим деталям революционной эпохи, дар их понимания и воспроизведения. Сюда относится, например, сцена в вагоне у Павла, где прекрасно показаны и Павел и уездные работники. Павел, правда, обрисован преимущественно с внешней стороны, но суетливый уездный „газетчик“ почти целиком. Не менее хороши сцены в сельсовете, особенно с мальчиком-секретарем; разговоры ледащего мужиченка, сельского большевика и почитателя наук и цивилизации; гульба дезертиров в первый день восстания; разговор Павла с братом в лесу и т. д. Леонов как видно не понял и не принял революции целиком, но он твердо знает о гегемонии пролетариата в ней, об обреченности старого умирать, а деревни—итти за какой-либо из борющихся городских групп. У Леонова нет ни ненависти к большевикам, ни ожидания их омещания. В его отношении к революции и к своей работе очевидна и большая искренность, и большая вдумчивость, и большое желание учиться и переучиваться. Талант Леонова— крупный, а творчество его почти все впереди.

К. Федин, может быть, наиболее кренящийся вправо из рассматриваемой здесь группы писателей, после довольно долгих и добросовестных ученических блужданий и подражаний вышел, наконец, на

большую дорогу русской литературы своим романом „Города и Годы“.

Главные достоинства этого романа: мастерское владение сложной фабулой, детальная и продуманная обработка бытовых сцен и психологии героев, с выдержанными почти у всех (кроме Курта Вана) до конца характерами. Прекрасен красочный, соответствующий облику героев или мыслям и настроениям автора, понятный, характерный и выразительный язык, местами поднимающийся до настоящего пафоса и высокой риторики. Роман Федина, кроме того отличают—углубленное и искреннее восприятие трагизма нашей эпохи; серьезная мысль по поводу ее сложных проблем; прекрасные картины германского военного быта, русской провинциальной революции и обывательской жизни в голодающем и воеющем Питере. Серьезная идейная и художественная работа автора, глубокое и искреннее переживание им больших проблем нашего времени, тщательное продумывание каждой детали романа, сведение всех его частей в действительное целое,—вот что заставляет рассматривать „Города и Годы“, как настоящее произведение „большой литературы“ в отличие от многих блестящих гнилушек словесного искусства нашего времени. В „Городах и Годах“ много недостатков и главный—неоднократно указывавшийся—неудачный выбор героя—типичного лишнего интеллигента, случайного попутчика революции, неумеющего себе найти призвания, дела и удовлетворения ни в личной ни в общественной жизни. Неудачна мысль Федина сделать образцовым коммунистом бывшего немецкого патриота, интеллигента-художника, научившегося на войне „ненависти“. Коммунизм состоит вовсе не из одной ненависти и даже не главным образом из нее; что же касается немецких патриотов и типичных интеллигентов, то из них мы что-то очень мало видели хороших коммунистов.

Очень жаль также, что Федин показал нам революцию или „глазами“ обывательски-восторженного чудака-профессора, или захолустно-уездную, или очень уж экзотическую (Башбригада), да и то весьма бегло. Но хуже всего намеки на наступление в СССР после гражданской войны царства помещанского благополучия (начало романа). Но Федин, как видно, серьезно думает над сущностью кризиса потрясающего мир, и отражает переживания довольно широких кругов, проведшей молодость в империалистической и гражданской войне активной интеллигенции. Правда, последнее по времени напечатания произведение Федина—„Наровчатская хроника“ не показывает больших успехов в понимании автором смысла революции, но... жизнь учит. И жизнь и революция еще могут хорошо переучить Федина, если он не безнадежно испорчен наследием старых, якобы максималистски-романтических, на деле же мешански-индивидуалистических интеллигентских традиций.

К разбираемой нами здесь группе писателей могут быть отнесены и некоторые другие беллетристы. Таков, напр. Каверин—

прекрасный мастер сюжета, которого „Серапионовское“ внимание к одной лишь форме поставило в нелепое положение. Он не учел в „Конце Хазы“, что построение уголовного романа с героизацией преступника и противопоставлением его мещанскому обществу и охраняющей последнее полиции, сделало эту повесть неуместной у нас апологией бандитизма и незаслуженной обидой милиции. Это об'яснение „реакционности“ „Конца Хазы“—не мое, а одного молодого рецензента. Несомненно, что эта-то ошибка и привела к тому, что имя Каверина стало незаслуженно считаться чуть-ли не контрреволюционным, хотя своей последней вещью—„Девять десятых судьбы“, молодой беллетрист как будто доказывает обратное. На грани между сейчас разбираемой группой и попутчиками стоит М. Козаков, идущий от Пильняковской, очень ему недавней формы к менее вычурному языку описаний и хорошему сказу. Он с трудом воспринимает и оценивает революцию через мещанский индивидуализм и интерес к судьбам горбунов, лилипутов, неисправимых проституток, чуть ли не наследственных преступников, вымирающих старых писателей и т. д. В своем последнем произведении „Повесть о Карлике Максе“ Козаков, впрочем показал не только умение владеть сложным и занимательным сюжетом, но и попутническое приятие „красных“ с точки зрения мещанской массы, запуганной зверством белых и с трудом и неясно понимающей великую человечность и подлинный демократизм „жестокой“ и „узко-классовой революции“. Несомненно, что автор этой статьи переоценил идеологические достижения Козакова во втором издании своей книги о современной русской литературе, но Козаков может все же, отставая и колеблясь, идти за революцией, освещая некоторые стороны быта и психологии человеческих прослоек, лежащих в стороне от ее главного русла.

Я не имею возможности перечислить здесь и характеризовать всех „нейтральных“ более или менее талантливых беллетристов, но необходимо упомянуть: Вас. Андреева прекрасного знатока и художника быта люмпенски-уголовной среды до революции и в революции; Н. Баршева, мастера изящной, написанной сказом и пронизанной грустным и ласковым юмором новеллы с героями обывателями, пытающимися стать вне жизни, в стороне от ее больших дорог; Яковлева, умеющего реалистически, без выводов от себя изображать противоречия и указывать частные проблемы, порожденные революцией. Что касается „право-крестьянского“ крыла литературы, то о Шишкове мы уже говорили, Чапыгин же в „Насельнице“ показал себя не только писателем, ставшим на художественную высоту своих лучших старых вещей, но и художником вышедшим далеко за прежние областнические темы. В „Насельнице“ дано глубокое изображение психологии крепкого хозяйственного крестьянства в новой обстановке. Клюев молчит, т. е. не дает ничего нового и значительного. Недавно трагически погибший Сергей Есенин, один из круп-

нейших русских лириков последних десятилетий, обнаружил в последние годы неудавшиеся порывы воспеть „Русь Советскую“, исчерпанность темы о „Руси кабацкой“ и ту застылость своей эмоционально-напряженной манеры письма, которая давала любому из бесчисленных „перевальцев“ возможность легко писать „под Есенина“.

10. Попутчики.

Группа писателей-попутчиков, в вышеуказанном узком и точном смысле этого слова, значительно усилилась за эти два года, художественно окрепла и в общем приблизилась к пролетлитературе. Эта писательская группа в целом является в художественном отношении наиболее мощной, хотя пролетписатели все более успешно догоняют ее. Если замолчали такие, как казалось, талантливые беллетристы-попутчики, как Буданцев и Малышкин, то зато выдвинулся ряд новых „союзных“ пролетариату писателей, менее случайных в литературе и более плодovitых. Вс. Иванов пишет мало, но его „Хабу“ показывает значительное идеологическое выпрямление по сравнению с „Возвращением Будды“ и „Ферганским хлопком“. Сейфуллина продолжает идти своим близким к пролетлитературе, хотя и неровным путем. Первая часть „Путников“ вышла несколько вялой и бледной; какие-то интеллигентские рефлектирующие ноты правильно отмечаются во „Встрече“. Но ранее написанная „Виринея“ с полным основанием может быть отнесена к наиболее значительным произведениям нашей современной литературы. Идеологические и художественные недочеты, которые нашел в „Виринея“, Якубовский значительно преувеличены им. Образ Виринеи разработан тщательно и убедительно, корни ее психологии в быте старой деревни, соприкоснувшейся с городской культурой, вскрыты правдиво и глубоко, ряд бытовых сцен свеж и ярки. Идеология „Виринея“ в общем безупречна. Нельзя же упрекать Сейфуллину за то, что она не захватила более поздней исторической эпохи, оборвав жизнь Виринеи в самом начале гражданской войны. О гражданской войне Сейфуллина писала в других вещах.

Крупнейшим прозаиком среди попутчиков наряду с Сейфуллиной является Бабель. Его основные достижения лежат в области формы. Он преодолел „Пильняковскую“ тенденцию бессмысленного искажения языка и ломки сюжета. В стиле Бабеля восстановлено мастерство передавать в художественном сказе и диалоге подлинную душу борющихся стихий языка и при помощи языка героев ярко выражать их психику. Краткая, полная мысли и сюжетно-насыщенная новелла Бабеля выделяется среди рыхлой в большинстве современной прозы, как образец прекрасной лаконичности. Что касается идеологии Бабеля, то надо констатировать: внешность и анекдотичность того, что он изображает, внимание его преимущественно к случайному и наименее организованному в революции,

непонимание им ее основных руководящих и движущих сил. Но Бабель целиком за революцию, он прекрасно изображает ее своеобразное преломление в быту и психике полупартизанских, преимущественно крестьянских конармейских масс.

Другой, выдвинувшийся за последние годы, попутчик Б. Лавренев имеет все данные для того, чтобы при благоприятных условиях развиваться в крупного художника. Он умело пользуется стилистическими достижениями различных направлений, прекрасно владеет в лучших своих вещах (напр. „Сорок первый“) сюжетом, хорошо использует интересный материал. Лавренев довольно близко подходит в своих повестях из эпохи гражданской войны к пролетарскому крылу литературы. В „военных“ повестях Лавренева интересны главным образом два мотива: во-первых, психология представителей глубоких слоев угнетенных масс, пробужденных и воспитанных революцией, художественный показ „смычки“ пролетарской революции с освободительными стремлениями национально, в семейном быту или служебной, военной муштрою забитых и замордованных трудящихся не пролетариев; во-вторых, Лавренев глубоко понимает и изображает внутреннюю трагедию белогвардейщины, разлагавшейся и губившей даже своих лучших по личным качествам представителей. Хуже даются Лавреневу вещи чисто-юмористические или авантюрные. Вообще Лавренев — типичный романтик, не желающий „вертеть ручку котлетной машины“ „серой“ современности — не понимает истинного смысла нашей революции. Он чужд борьбе, идущей сейчас за глубокое преобразование и быта, и бытия, и потому его лучшие вещи относятся к эпохе гражданской войны.

Ближе к современности и к пролетарской литературе стоит творчество „крайне-левого“ попутчика, Дм. Четверикова. Последнее время во многих рецензиях Четверикова бранили за спешность, схематизм и обнаженную тенденциозность письма. Несомненно, эти недостатки свойственны некоторым произведениям Четверикова. Так, например, герои „Атавы“ действуют слишком явно по плану, который должен развить и показать их социально-психологическую природу, по плану, который слишком легко заранее угадывается читателем, что вредит цельности художественного впечатления. Слишком прямолинейно-агитационны основные линии развития действия в повести „Будни“. Четвериков вообще берет проблемы не слишком глубоко, часто не глубже повседневной газетной агитации. Но в одной из своих повестей, в „Веденьковском клубе“, Четвериков уже глубже зачерпнул рабочий быт и затронул ряд больных и трудных проблем и коммунистического и общерабочего быта. „Солнечные часы“ и „Волшебное кольцо“ при всех своих недочетах показывают, что Четвериков умеет быть оригинальным и смелым в выборе и разработке тем. Поверхностный и тенденциозно-упрощенный оптимизм Четверикова объясняется тем, что он желает по-своему помочь пролетар-

ской революции и сочувствует ей, но, будучи в то же время органически пока еще далеким от нее и недостаточно твердым в полном ее понимании, он боится, отойдя от схемы, повредить революции или быть неверно понятым. Собственный идеологический рост Четверикова и изживание подобной же робости самими пролетписателями заменяет оптимизм трезвым и подлинно-революционным реалистическим и вдумчивым подходом к жизни. В лучших рассказах из „Сытой Земли“, в повести „Бурьян“ Четвериков доказал, что он может очень умело владеть языком и прекрасно чувствует его различные живые диалекты и жаргоны. В „Сытой Земле“ есть примеры хорошего владения новеллистической формой, а по „Волшебному кольцу“ можно судить об умении создать занимательный сюжет. При более упорной художественной и идеологической работе над собою и своим материалом Четвериков может дать ценные произведения и стать серьезным писателем, чрезвычайно близким к пролетариату.

Можно указать еще много близких к пролетлитературе писателей: А. Караваеву, поставившую и довольно удачно разрешившую любопытную проблему о случайном для партии человеке, лакее, движимом в революции ненавистью к барам, но чуждом классовой пролетарской сознательности и выдержки („Берега“); сибирского беллетриста Гольберга, умело и занимательно рассказывающего характерные эпизоды борьбы в Сибири в 18—20 г.г.; Пучкова, дающего своеобразные типы анархически настроенных индивидуалистов-революционеров из разных общественных групп, плохо приспособляющихся к условиям „мирного строительства“. На грани между попутчиками и пролетписателями стоит Артем Веселый. (Это можно сказать и о части „перевальцев“, к которым А. Веселый недавно принадлежал, и о Караваевой). Основная тема Артема Веселого—матросская вольница и партизаны в войне и в мирную эпоху; идеология его в общем выдержана, но разудалая матросня слишком окружена ореолом романтического героизма даже в своих явно-отрицательных чертах. Формально Артем Веселый идет от Вс. Иванова в слишком манерном сказно-импрессионистском стиле и в разорванности сюжета.

Из поэтов в попутническом лагере за последнее время новых серьезных имен не выдвинулось. В попутчика постепенно превращается довольно талантливый акмеист Вс. Рождественский. Развивается своеобразный талант Веры Инбер. Продолжают работать лучшие поэты—лефы. Маяковский в поэме „Владимир Ильич Ленин“ идеологически стал значительно ближе к пролетариату, формально—яснее и понятнее массам. Приемы Маяковского зато стали несколько однообразны и очень „прозрачны“ для опытного читателя. Прежний бурный рост Маяковского, его постоянные попытки „преодолеть себя“ остановились, его творчество производит впечатление чего-то застывающего на достигнутой большой высоте.

Но Маяковский попрежнему — мастер высокого пафоса, своеобразного риторически-эмоционального лиризма („Ленин“) и остроумного простовеселого или зло сатирического гротеска. Он вероятно еще даст ряд ценнейших произведений, теперь проникающих уже и в привычную к Маяковскому массу рядовых читателей. Асеев занял идеологически неудачную позицию романтика, тоскующего и мечтающего о прошлом и будущем острых и открытых классовых боев, ожидающего, пока охваченные революционным подъемом европейские пролетарские массы „всех Травиат истребят“, ускорив и наш приход к социализму.

Интересные стихи получаются порою у Дм. Петровского, ищущего свой путь где-то на линии смычки Хлебниковской подчеркнутой разговорности стиля и игры в заумь и лексические новообразования, Пастернаковской затрудненности и оригинальности словосочетаний и образов, Асеевской музыкальности и чисто звуковой выразительности. Пафос Петровского — революционная романтика. Вообще же пока из левовских теорий непосредственно-производственной поэзии ничего серьезного на практике не получилось. Действительное творчество Маяковского, Асеева, Петровского с этими теориями ничем почти не связано.

Весьма значительны по своим результатам попытки поэтического синтеза у Н. Тихонова, также ученика Хлебникова и Пастернака, но одновременно ученика и Маяковского и акмеистов и классиков — Пушкина, Лермонтова. Основные достижения намечаемого Тихоновым синтеза это: величавая простота, сжатость и выразительность, гибкая свобода поэтической речи. „Загадочность“, чрезмерная нарочитая остраненность речи Тихонова в „Шахматах“ теперь все более становится призрачной в своей трудности, легко понятной. И теперь она, лишь придает Тихоновским стихам свежесть и оригинальность образов и словосочетаний по существу суровых, резких и простых. В „Дороге“ еще есть труднопонятные места. Но последние стихи Тихонова, требуют лишь небольшой привычки к его манере выразаться, что с избытком искупается четкостью „ощутимостью“ образов (напр. „Карелия“, „Поиски героя“, „Отдых“). Тихонов теперь почти по-пушкински легко соединяет насыщенность стихов мыслью с эмоциональной их окрашенностью, легко переходит от высокого пафоса к разговорной простоте и свободе выражений, от лиризма к иронии. Зато Тихоновым ослаблена музыкальная окраска стихов и гармоничная цельность последних в их совокупности. Они слишком разбиваются на отдельные куски. Идеологически Тихонов все более выправляется. Его революционность становится все более организованной, все более связанной не только с разрушительным, но и с творческим смыслом великого переворота наших дней („Дорога“). Но эта революционность все еще как-то абстрактна и теперь стала своеобразно созерцательной, сочувственной, но сторонней историческому движению.

11. Общие итоги.

Итак, к 1926 году русская литература представляет совершенно иную картину, чем в 1923 году, в момент наибольшего подъема, Пильняковски-Эренбургской полосы нашего литературного развития. При всех трудностях провести между отдельными близкими писателями резкие социальные грани, можно смело разделить современную литературу на классовые группы. На левом фланге стоит быстро-крепнущая идейно и художественно, стремительно растущая в количественном отношении пролетарская литература. Она берет самые актуальные темы современной общественности, идет по пути здорового критического и насквозь проникнутого революционным духом реализма. Ей обеспечено будущее, ей уже сейчас принадлежит очень значительная и все более растущая доля внимания наиболее общественно-активных читательских масс. Рядом с пролетарской литературой стоит литература попутчиков, писателей, отражающих настроения трудового крестьянства и революционной интеллигенции. В целом эта группа пока еще дает наибольшую по художественной ценности продукцию. Темы здесь менее актуальны, чем у пролетарской литературы, внимание более обращено в прошлое (главным образом — недавнее), разрешение проблем менее смело, чем у пролетарских писателей. Попутчики все более подчиняются идейной гегемонии пролетариата и его литературы, все более передают пролетарским писателям свои технические достижения. Затем идет группа писателей, пытающихся быть нейтральными в общественном смысле или колеблющихся по некоторым вопросам, поднятым революцией. Это — или неизжившие целиком традиций прошлого интеллигенты, или люди, связанные с колеблющимися элементами крестьянства. В этой группе есть очень крупные художники, которых пролетарской литературе предстоит идеологически завоевать. От этого „центра“ начинается правый фланг литературы, состоящий из двух групп. Одна, это — писатели с определенно Устряловской, сменовеховской необуржуазной идеологией (Илья Эренбург, Алексей Толстой, Булгаков) или писатели, реакционные мещане (Слонимский, Зощенко), или запутавшиеся в сетях реакционной идеологии, интеллигенты (Пильняк). Эта группа художественно вырождается или спускается к потребностям „улицы“. Но эта группа может сильно оживиться на фоне оживления кулака и нэпмана, пополнившись и новыми писателями, как выходцами из более левых, так, отчасти, и из более правой группы. Эта же вторая крайняя в правом крыле группа состоит из тесно связанных внутрисоюзных и заграничных старых буржуазно-дворянских или окрепших в эмиграции (Алданов) писателей. Эта реакционная группа пишет все меньше, все слабее и совсем утратила всякое актуальное значение хотя организационно через „Союз Писателей“ она оказывает сильнейшее влияние на всех непролетар-

ских писателей. Основная линия борьбы наметилась ясно. Это— линия борьбы между пролетписателями и подчиненными их гегемонии попутчиками (в действительном смысле этого слова) за читателя, за общественное признание, за колеблющихся писателей против буржуазной и мелкобуржуазно-реакционной литературы. Это— рабоче-крестьянски-демократически-интеллигентский блок под гегемонией пролетариата против буржуазии, буржуазной интеллигенции, кулаков. Рабоче-крестьянский блок явно побеждает, а внутри его гегемония пролетариата усиливается. Резолюция ЦК РКП о литературе подтверждает эту именно характеристику современности. То, что настоящими попутчиками стали не Пильняки и Толстые, а писатели из более молодых и свежих интеллигентских групп, и что эти попутчики так легко поддаются пролетарскому влиянию, еще раз показывает, как неправ был т. Воронский в своей политике: он и уступал слишком много и уступал не тем, кого нужно было поддерживать и привлекать, а людям, для нас безвозвратно потерянным. „Напостовцы“ были не только теоретически и организационно правы в своей борьбе с „капитулянством“ некоторых партийных теоретиков, критиков и редакторов перед буржуазной литературой, но и самые резкие приемы напостовского „битья стекол“ исторически уже оправданы.

„Звезда“ № 1 за 1926 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	5
На переломе—вместо введения. (Эволюция русской литературы за 1924— 25 г.г.).	7
Пролетарская художественная проза и наша современность. (Я. Коробов, А. Тверяк, М. Карпов, Ив. Никитин, Л. Грабарь, Г. Никифоров, Ф. Гладков, Н. Ляшко)	38
Основные черты творчества Ю. Либединского	79
Н. Ляшко, как пролетарский писатель	89
Новеллы Бабеля	101
Творчество Бориса Лавренева	119
А. П. Чапыгин (тематика и идеология его рассказов и повестей)	140
Памяти В. Я. Брюсова	148
Л. Д. Троцкий, как литературный критик, и проблемы пролетарской лите- ратуры	159
Единый фронт буржуазной реакции (О „Русском Современнике“)	195

Цена 1 р. 25 коп.

11780



СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Ленинград: Проспект 25 Октября, 56, магазин „Книжные
Новинки“. Тел. 5-45-77.

Москва: Московское отдел. Издательства „ПРИБОЙ“,
Лубянский пассаж, №№ 46—49. Тел. 2-24-09.